

Александр Алексеевич Богданов

Перед рассветом



Александр Богданов

Перед рассветом

«Public Domain»

1912

Богданов А. А.

Перед рассветом / А. А. Богданов — «Public Domain», 1912

«Щаповаловский сход волнуется... Разгоряченные крики, наполняющие душную сборную избу, все растут и сливаются в упорный гул. Даже бородатые старики, всегда молчавшие, теперь жмутся плотной стеной к столу, протискиваются вперед плечами и локтями и с надсадой, уходя всем своим нутром в каждое слово, кричат:– Незачем выделять!.. На што ему земля?.. Все равно – пахать сам не станет, а Игошину продаст!..»

Александр Алексеевич Богданов

Перед рассветом

Щаповаловский сход волнуется... Разгоряченные крики, наполняющие душную сборную избу, все растут и сливаются в упорный гул. Даже бородастые старики, всегда молчавшие, теперь жмутся плотной стеной к столу, протискиваются вперед плечами и локтями и с насадой, уходя всем своим нутром в каждое слово, кричат:

– Незачем выделять!.. На што ему земля?.. Все равно – пахать сам не станет, а Игошину продаст!..

– Это верно!.. Как пить дать – продаст...

– У Игошина брюхо – во-о... Не накормишь!..

– Глот-от!.. Всю деревню бы проглотил, кабы силу имел...

– То-то и оно, што силов настоящих нет...

– Не желаем!.. Вот и весь сказ!..

Волостной писарь Евлампий Васильевич, ставленник земского начальника из канцеляристов, широкоплечий и широколобый, с большими желваками на висках, выбивается из сил, чтобы настоять на своем. В глубине души он сочувствует мужикам и не хотел бы с ними ссориться, но у него есть секретное предписание от земского начальника, обязывающее его содействовать всем выходцам из общины. И в затруднении писарь не знает, что делать... От напряжения на лбу его набухли толстые жилы. Виски взмокли, и волосы прилипли скобками к красным, тупо срезанным ушам. Навалившись тяжело, по-мужицки, на обшарпанный стол, он машет по воздуху сложенной в четвертушку бумагой – заявлением крестьянина Григория Таратыгина о выделе из общины:

– Да чудачки же вы!.. Да ведь закон же!.. Да ведь; если вы не дадите приговора, то имеет ли он, или нет, полное резонное основание земскому жаловаться?.. Так или нет?..

Мужики не сдаются... Живая стена движущихся голов колышется сильнее. На писаря смотрят, как на врага, пришедшего из чужого стана, никто не высказывает явно своего недоверия к нему, но чувствуется, как это недоверие горячо бурлит под заплатанными армяками и домоткаными холщовыми рубахами.

– Нечего нам такать!.. Не желаем и баста...

– Ты гумагой не тычь... А ты вот рассуди сам, еловая голова, правильно ли – которому чужому человеку да лучший клин отрезать?..

– Па-а-мещики, притка вас задави!

Писарь оглядывает беспомощно то бушующую толпу, то помощников – двух подростков, сидящих в углу и приучающихся к делу, то старшину, степенного мужика с начищенной медной бляхой на труди.

– То есть как чужому?.. Шаповаловский он или нет?.. И надел ему полагается иль нет?.. Ведь ваш же он общественник...

Писарю не дают договорить.

– Какой он общественник?.. Трясучка его к нам из городу натрясла...

– Сколько годов как хозяйство их семья порешивши!..

Писарь бросает четвертушку на стол, достает из кармана пиджака пестрый каемчатый платок, вытирает потный лоб и безнадежно машет рукой. Он садится на скамью и отдувается долго и с трудом... Потом, отдышавшись, он дергает за полу кафтана старшину...

Старшина неохотно, тяготясь своей обязанностью, встает ему на смену... Он говорит сбивчиво и нескладно, медленно подыскивает каждое слово, мысли лениво ворочаются в его голове, – и от усилий, вследствие непривычки говорить, над его тупым переносом сходятся две глубокие и толстые складки...

– По-пустому вы, старики, спорите!.. Раз Евлампь Василич объясняет вам – нельзя; ну, значит, и нельзя!.. Евлампь Василичу все законы известны. . .

Мужик Горькушин, многосемейный и не разделившийся с детьми, продирается из задних рядов вперед и останавливается на старшине слезящиеся глазки с воспаленными, как будто вывороченными докрасна веками. . . Лицо у Горькушина болезненное, и говорит он, точно жалуется на свою судьбу:

– Так ведь рассуди сам, Николаич!.. Нешто так гоже?.. Одному клин да другому клин, пожалуй, раструси ее по клиньям всю землю!.. А нам кто чего даст?..

Виновник споров, Григорий Таратыгин, по кличке Тартыга, сидит в углу сборной избы рядом с богачом-краснорядцем Игошиным. Оба знают, что право и сила на их стороне, и потому молчат.

Таратыгин одет по-городскому. Вид у него беспечный, крикливо-яркий среди серого, деревенского. И от этого все настораживаются вокруг него досадливо и враждебно. С неприязнью оглядывая его сухое, изношенное в городе до желтизны лицо, закрученные и прокуренные усы, отбегающие неопратно от губ к щекам, его клетчатый пиджак и даже старые ботинки, заплатанные и стоптанные, но сшитые по-магазинному, на фальшивом ранту и с вытянутыми фасонистыми носками.

Горькушин выбрасывает к нему мозолистые нескладные руки и пробует усовестить его:

– На што тебе, Григорий, земля?.. Ведь продашь?.. Сам не будешь робить?..

Тартыга встряхивается. Все, что происходит кругом, ново для него, занято. . . И вражда, которую он встречает во всех, не тревожит его ничуть, а только забавляет.

Наглые и смеющиеся глазки Тартыги самодовольно щурятся, и долго переливается в них дерзкий дразнящий огонек. . .

Зная, что все внимательно следят за каждым его движением, он старается говорить как можно молодцеватей и небрежней:

– А и продам!.. Вот на месте подохнуть, – право слово, продам. . .

Горькушин с сокрушением качает головой. . .

– А-их, парень ты, парень!..

Тартыга откидывается одним плечом к шершавым бревнам стенки и небрежно, сквозь зубы, роняет:

– То и хорошо, что парень. Не успел мохом обрасти, как вы, бородачи. . .

Горькушин укоризненно прощупывает Тартыгу глазами. . . Смотрит пристально и долго, словно хочет опуститься глубоко в самую душу Григория и уяснить себе все непонятное и чужое, с чем пришел из города этот странный и дерзкий человек.

– Игошину продашь? – говорит он.

Тартыга чмыхает. . . Раздвигаются кончики усов. . .

– Хочешь, тебе продам?.. Покупай!.. Дешевле требухи отдам. . .

Краснорядец Игошин, богатый и самолюбивый кулак, задет за живое беспрестанным упоминанием его фамилии. . . Но по упрямству и крутонравию он не хочет обнаружить перед другими своих чувств, – все время с усилием сдерживает себя и тяжело ворочается грузным телом в тесной суконной поддевке. Ответы Тартыги нравятся ему, он одобрительно крикает и, выказывая передо всеми превосходство, говорит с достоинством:

– Игошину ли, кому ли, ты что за указчик выискался. . . На свои законные неотъемлемые купляю, не на краденые!..

И опять в тесных стенах избы всплескивают раздраженные крики. . . Победой Тартыги и Игошина кончается бой. . . Пишут приговор, недовольно ворчат, кряхтя, наваливаются животами на стол, ставят каракули и крестики.

– Ну, где писать-то, паралика вас убей. . .

– Черти толстосумы!..

День веселый и вёдреный, напоенный мягкой близостью осени... В сизой дымке степных далей, как в рамке, узорно просвечивают поля с зелеными озимыми всходами. Пахнет зерном и свежей соломой. Где-то уже начали раннюю дружную молотьбу на току – торопливо звенит в воздухе стук цепов, и домовитое, деревенское расплзается урожайным хлебным ароматом по улицам.

Тартыга бесцельно бродит вдоль порядка... На нем новые сапоги с высокими простроченными голенищами и в руках тульская гармоника; все куплено на деньги, которые он получил от Игошина.

Ходуном ходят бумажные мехи, подклеенные красной лайкой, и гармоника, как живой человек, выговаривает:

Си-дит милка, ждет ми-ло-го,
У него для ней обно-ва,
Э-эх, да!..
Бе-лай шел-ко-ваи пла-точек,
Люб за-вет-ный пер-стенечек,
Э-эх, да!..

Под ветлами колодец. Высоко поднятый журавель черной бороздой перечертил небо. К окслизлomu бревенчатому срубу приставлено корыто с присохшими на краях отрубями; оно наполнено водой и мокнет.

Тартыге скучно. Он останавливается и выискивает глазами, нет ли поблизости чего интересного... Около колодца босоногая девочка. Тартыга перестает играть и кричит:

– Грушка, подь сюда!..

Девчонка боязливо жметя и топчется на месте... Она не решается подойти к Тартыге и выжидательно стоит, подняв по-птичьи ногу с наростами дикого закорузлого от пыли мяса...

Тартыге вспоминается детство, когда он сам вот таким босым и голодным мальчуганом бегал в деревне... И жгучая непонятная волна, поднявшаяся из далекого прошлого, внезапно входит в него и наполняет смутным беспокойством...

Он дружелюбно и нежно манит Грушку:

– Подь, глупая, не бойся!.. Орех дам...

Грушка опускает ногу и идет робко к нему, дичась, как маленький зверек. Тартыга гремит в кармане пиджака, достает грецкий орех, раскусывает его и половинки дает Грушке. От неожиданной радости она вспыхивает. Сбегают пугливые тени... Тартыге приятно следить за веселой игрой круглых ямочек на ее щеках. Он снова трясет в кармане и достает еще горсть орехов.

– Грызи!.. Только зубов не сломай!..

Грушка краснеет гуще. Глаза ее делаются ласково-влажными.

– Не сломаю, дяденька...

– Вот, вот!.. Беззубую замуж не возьмут, – нежно говорит Тартыга. Он смеется, и усы у него движутся, как хорьковые хвостики, вверх и вниз.

А Грушка обеими руками крепко защемливает в пригоршню орехи и бежит к избе...

Тартыга смотрит ей вслед... Неясные мысли, может быть печаль о прошлом, утраченном, может быть радостное ожидание чего-то лучшего и неизведанного бродят по его лицу...

На повороте в Афонькины выселки попадается батюшка, отец Петр.

«Коли поп, добра не будет», – думает Тартыга. И светлое настроение его, на мгновение завладевшее душой, вдруг исчезает... Он угловато кривит лицо, делается снова жестким и злым и вызывающе останавливается поперек дороги.

Отец Петр в сером подрянике, поярковой шляпе и с яблоневого суковатой палкой в руках. Поравнявшись с Тартыгой, он оглядывает строго его гармонику, потом попеременно то клетчатый пиджак, то сапоги... Тартыга не кланяется и в упор смотрит на попа черными насмешливыми глазами...

А когда отец Петр проходит мимо, Тартыга забирает грудью в полную силу воздух и на весь порядок кричит:

– Бать, а бать!.. Не торопись, бать, поспешь на плешь!.. Увидишь своих, кланяйся нашим!.. Скажи Василисе, чтоб вечером на гумно приходила!..

Василиса, молодая безродная бобылка, живет у отца Петра в кухарках. За короткое время жизни в деревне Тартыга успел познакомиться и сойтись с ней. Почему-то оба они сразу почувствовали влечение друг к другу...

Отец Петр ничего не отвечает, только крепче сжимает в руках палку и крупными сердитыми шагами идет быстро вперед.

Площадь перед волостным правлением изрезана колеями в разные стороны от беспорядочной езды. Посредине площади церковь с малиновыми стеклянными шарами на зеленых вырезках ограды. Церковь приземистая, осевшая от старости и выбеленная. Рядом колокольня. Над столбами возведен тесовый навес. Веревочные концы спускаются от колоколов почти до земли и завязаны тройчаткой в крепкий узел.

Пустырь около волостного правления занят складом материалов для постройки. Горкой навалены бревна и доски.

На бревнах мужики и Тартыга беседуют. Фуражка Тартыги примята с боков, маслящиеся пьяные глаза любовно обнимают и церковку, и зеленый луг, и загородь поповского палисадника, где время от времени в сетке кустов рыжим пятном мелькает простоволосая голова Василисы.

Мужики каждый по своему делу ждут очереди в волостном правлении.

– Порешил с землей? – спрашивает Тартыгу бывший выборный учетчик сельской кассы Наум, серьезный мужик, с завитками на крупной бороде и весь почерневший, как поднятая плугом земля...

Тартыга по привычке щурится... Яркий свет дня зыблется над площадью прозрачным блестящим пологом и слепит глаза... И на солнце отливают глянец голенища его новых сапог...

Мужики с интересом ждут, что ответит Тартыга... Смотрят холодными и чуждыми глазами, как он забрасывает беспечно и небрежно ногу на ногу. Даже дальний родственник Тартыги, сватушка Игнат, в избе которого Тартыга ночует и платит за харчи по двугривенному в день, – и тот недружелюбно замкнулся теперь сам в себе и молчит...

Тартыга сознает, что он чужой всем, и от этого в нем сильней поднимается задорное желание посердить Наума. Насмешливо он отвечает:

– Ну да, порешил! Вот провалиться на месте, если вру... Чего мне в назьме да грязи ковыряться?..

Наум выравнивается и кажется выше. Сверху вниз он оглядывает Тартыгу, не скрывая своего презрения, и продолжает:

– Легкой жисти, парень, захотелось?.. Неохота, видно, землю-матушку холить да мужицкий хлебушко исти!..

Тартыга не смущается от этих слов. Он смеется длительным и деланным смехом. В пустоте его ощерившегося рта видны желтые обкуранные зубы.

– Правильно сказал, дядя Наум!.. Ей-богу!.. Чего я здесь у вас не видал?.. Лаптем воду не хлебал нешто? А?.. В городе я по крайности на какую хошь работу встану...

Наум мрачно поводит бровями...

– Много тоже и нашего брата там под заборомдохнет!..

– А идохнет... Вот, ей-богу же,дохнет... – дурачливо отвечает Тартыга.

Он играет своими словами, и каждый мускул на его лице тоже играет и живет. Своей уступчивостью он хочет показать превосходство перед Наумом... Незачем! мол, спорить – все равно не переспоришь...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.